



В. С. СОЛОВЬЕВ

Поэзия Ф. И. Тютчева

Говорят, что в недрах русской земли скрывается много естественных богатств, которые остаются без употребления и даже без описания. Это может, конечно, объясняться огромным объемом страны. Более удивительно, что в небольшой области русской литературы тоже существуют такие сокровища, которыми мы не пользуемся и которых почти не знаем. Самым драгоценным из этих кладов я считаю лирическую поэзию Тютчева. Этого несравненного поэта, которым гордилась бы любая литература, хорошо знают у нас только немногочисленные любители поэзии, огромному же большинству даже «образованного» общества он известен только по имени да по двум-трем (далеко не самым лучшим) стихотворениям, помещаемым в хрестоматиях или положенным на музыку¹. Я часто слышал восторженные отзывы о стихотворениях Тютчева от Льва Толстого и от Фета*; Тургенев в своей краткой рецензии называет Тют-

* Фет выразил свой восторг в послании к «обожаемому поэту» («Вечерние огни». Вып. I) и в надписи — «На книжке стихотворений Тютчева» («Вечерние огни». Вып. II):

Вот наш патент на благородство,
Его вручает нам поэт:
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет.
В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.
Но Муза, правду соблюдая,
Глядит: а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая —
Томов премногих тяжелей.

чева «великим поэтом»; Ап. Григорьев упоминает о нем, говоря о наших поэтах, особенно отзывчивых на жизнь природы; — но специального разбора или объяснения его поэзии до сих пор не существует в нашей литературе, хотя прошло уже более двадцати лет с его смерти². Превосходное сочинение И. С. Аксакова есть главным образом биография и характеристика личности и славянофильских взглядов поэта. В настоящей очерке я беру поэзию Тютчева по существу, чтобы показать ее внутренний смысл и значение.

I

Прежде всего бросается в глаза при знакомстве с нашим поэтом созвучие его вдохновения с жизнью природы, — совершенное воспроизведение им физических явлений как состояний и действий живой души. Конечно, все действительные поэты и художники чувствуют жизнь природы и представляют ее в одушевленных образах; но преимущество Тютчева перед многими из них состоит в том, что он вполне и сознательно *верил* в то, что чувствовал, — ощущаемую им живую красоту принимал и понимал не как свою фантазию, а как *истину*. Эта вера и это понимание стали редки в новое время, — мы не находим их даже, например, у такого сильного поэта и тонкого мыслителя, как Шиллер. В своем знаменитом стихотворении «Боги Греции» он предполагает, что природа только *была* жива и прекрасна в *воображении* древних, а на самом деле она лишь мертвая машина. Смерть эллинской мифологии была для Шиллера смертью самой природы; вместе с прекрасными богами Греции исчезла и душа мира, оставив только свою тень в художественных памятниках классической древности:

Светлый мир, о, где ты? Как чудесен
 Был природы радостный расцвет.
 Ах! в стране одной волшебных песен
 Не утрачен сказочный твой след.
 Загрустя, повымерли долины,
 Взор нигде не встретит божества.
 Ах! от той живительной картины
 Только тень видна едва.
 Всех цветов душистых строй великий
 Злым дыханьем севера снесен...

.....
 Я ищу по небу, грусти полный,
 Но тебя, Силена, нет как нет;

Оглашаю рощи, кличу в волны —
 Безответен мой привет.
 Без сознания радость расточая,
 Не провидя блеска своего,
 Над собой вождя не сознавая,
 Не деля восторга моего,
 Без любви к виновнику творенья,
Как часы — не оживлен и сир,
 Рабски лишь закону тяготенья
 Обезбожен служит мир...

.....
 Праздно в мир искусства скрылись боги,
 Беспольны для вселенной той,
 Что, у них не требуя подмоги,
 Связь нашла в себе самой.
 Да, они укрылись в область сказки,
 Унося туда же за собой
 Все величье, всю красу, все краски,
 А у нас остался звук пустой*.

Тютчев не верил в эту смерть природы, и ее красота не была для него пустым звуком. Ему не приходилось *искать* душу мира и безответно приветствовать отсутствующую: она сама сходилась с ним и в блеске молодой весны, и в «светлости осенних вечеров»; в сверканье пламенных зарниц и в шуме ночного моря она сама намекала ему на свои роковые тайны. И без греческой мифологии мир был полон для него и величья, и красоты, и красок. В этом нет еще ничего особенного. Живое отношение к природе есть существенный признак поэзии вообще, отличающий ее от двоякой прозы: житейско-практической и отвлеченно-научной. В минуты настоящего поэтического вдохновения и Шиллер забывал, конечно, о часовом механизме и о законе тяготения — и отдавался непосредственным впечатлениям природной красоты³. Но у Тютчева, как я уже заметил, важно и дорого то, что он не только *чувствовал*, а и *мыслил* как поэт, — что он был *убежден* в объективной истине поэтического воззрения на природу. Как бы прямым ответом на шиллеровский похоронный гимн мнимой умершей природе служит стихотворение Тютчева:

Не то, что мните вы, природа —
 Не слепок, не бездушный лик:

* «Боги Греции» Шиллера, в переводе Фета («Вечерние огни». Вып. I).

В ней *есть* душа, в ней *есть* свобода,
В ней *есть* любовь, в ней *есть* язык.

Вовсе не высшее *знание*, а только собственная слепота и глухота заставляют людей отрицать внутреннюю жизнь природы:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнца, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах,
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была;
И языками неземными
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза...

II

Кто же прав из двух поэтов? Есть жизнь и душа в природе или нет? Или, может быть, существуют две истины: одна для поэзии, а другая — для науки? Но наука тут ни при чем; она не отвечает за те ложные выводы, которые делаются из ее достоверных данных в силу одностороннего направления мысли, возобладавшего в известную эпоху. Наука никогда не доказывала — да по существу дела и не может доказывать, что мир есть *только* механизм, что природа есть *только* мертвое вещество. Различные науки исследуют природу *по частям* и находят между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая исследовала бы вселенную в ее единстве и целостности, вовсе не существует, а логика, обязательная и для наук, не позволяет от анализа частей и их внешней частичной связи делать окончательное заключение о всеобщем характере или смысле целого. Ведь и в теле живого человека все его части и частицы связаны между собою механически, — это не мешает ему, однако, быть одушевленным существом. Никто не решится утверждать, что механическое устройство и действие скелета, сосудистой, мускульной и нервной систем, изучаемое точными науками — анатомией и физиологией, — исчерпывают собою весь истинный смысл человеческого существа и существования; напротив, каждый согласится, что весь этот механизм координированных частей имеет смысл только как орудие

или средство выражения и осуществления внутренней жизни или души человека *. Точно так же и механизм всей природы есть только слаженная совокупность для проявления и развития всемирной жизни. Точное изучение механизма в высшей степени важно: оно дает человеку возможность в известной мере управлять естественными явлениями, пользоваться ими для своих целей. Но ни теоретический принцип, ни практическая польза такого изучения не составляют еще достаточного основания, чтобы видеть здесь всю истину о природе; это, в сущности, было бы так же странно, как если бы кто-нибудь стал утверждать, что для полного и окончательного познания человека нужно только вскрыть и препарировать его труп.

Против нашего заключения об одушевленности человеческого тела к одушевленности тела всемирного нельзя приводить то соображение, что живого человека мы действительно видим как замкнутое целое в некотором ощутительном единстве, — природу же воспринимаем всегда лишь по частям. Ясно, что это различие зависит не от существа дела, а от причины совершенно условной — от относительных размеров того и другого предмета. Для микроскопических глаз мухи вовсе не существует целое гармоническое очертание человека или человеческого лица с его выражением, да и для нашего собственного глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось бы при микроскопическом исследовании в бесформенную массу грубых тканей и клеток, механически нагроможденных безо всякой законченности и единства. Однако, когда я смотрю на это лицо, как на живое, узнаю в его очертаниях и изменениях следы внутреннего опыта и выражение мыслей, чувств и желаний, вяжу через него душу и судьбу этого человека, то я, конечно, вижу несравненно *больше*, чем видит в нем самая наблюдательная муха, и узнаю о нем более полную истину, чем ту, которую мог бы узнать при помощи микроскопа. Никак не те волокна и клетки, а именно большее, содержательное и единое, что я вижу живым взглядом, — оно-то и есть истина или подлинный *смысл* этого человеческого существа, а то все — только материал, в котором воплощается, посредством которого выражается эта *истина* или этот смысл.

Как телесная видимость человека, сверх анатомических и физиологических фактов, говорит нам еще своими знаками о его внутренней жизни или душе, так точно и явления всей

* Об отношении жизни к материальной организации тела см. превосходные рассуждения Клода Бернара⁴ в его «Общей физиологии».

природы, каков бы ни был их механический состав, говорят нам в своей живой действительности о жизни и душе великого мира. Ни логика, ни сама естественная наука, не позволяют нам рассуждать иначе и противопоставлять человека миру как живое мертвому. Для взгляда исключительно аналитического — и в самом человеке нет живого и целого существа, а только механическая совокупность материальных частиц; для взгляда же, направленного на полную истину, а не на одну только ее сторону, есть жизнь и во внешней природе. Последовательная мысль должна выбирать между двумя положениями: или ни в чем, даже в человеке, даже в нас самих, нет одушевленной жизни, или — она есть во всей природе, различаясь только по степеням и формам. Ибо нет никакой возможности, оставаясь на научной почве, *отделить* человека в этом отношении от остального мира. Своею телесною организацией, которую обусловлено развитие его внутренней жизни, человек принадлежит к животному царству, а животных никак нельзя выделить из прочей природы и признать их исключительными носителями жизни. На самом деле животное царство неразрывно связано с растительным, имея с ним первоначально одну общую основу органического бытия, до сих пор еще представляемую такими организмами, которых нельзя отнести ни к животным, ни к растениям. А целый органический мир, при всем своем формальном *отличии*, *нераздельно* связан, однако, и по составу, и по происхождению с миром неорганическим. Утверждать безусловную грань между этими двумя мирами так же, в сущности, неосновательно и противно духу науки, как если бы мы признали безусловную разнородность между твердым скелетом и мягкими тканями человеческого тела.

Нет во всей вселенной такой пограничной черты, которая делила бы ее на совершенно особенные, не связанные между собою области бытия; повсюду существуют переходные, промежуточные формы, или остатки таких форм, и весь видимый мир не есть собрание деланных вещей, а продолжающееся развитие или рост единого живого существа.

III

Глубокое и сознательное убеждение в действительной, а не воображаемой только одушевленности природы избавляло нашего поэта от того раздвоения между мыслью и чувством, которым с прошлого века и до последнего времени страдает большин-

ство художников и поэтов. Простодушно принимая механическое мировоззрение за всенаучное и единственно научное, а потому несомненное, веря ему на слово, эти служители красоты *не верят в свое дело*. Как художники, они передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувство и вдохновение их обманывают, — что красота есть субъективная иллюзия. А на самом деле иллюзий только в том, что отражение ходячих мнений на поверхности их сознания принимается ими за нечто более достоверное, чем та истина, которая открывается в глубине их собственного поэтического чувства.

Понятно, что при таком неверии самих поэтов в свое дело простые смертные приучаются смотреть на поэзию (и на художественную красоту вообще) как на праздный вымысел, и про всякую идею, возвышающуюся над житейской плоскостью, говорят: «Это только поэзия!» — разумея: Это вздор и пустяки!» И кто же, в самом деле, станет придавать серьезное значение тому божеству, в котором сами жрецы видят только приятный вымысел?

Поэты, не верующие в поэзию, у которых ум противоречит вдохновению и которые думают, что истина есть только одна механика, — такие поэты или должны быть неискренни, или же, отдаваясь поэтическому чувству, должны воздерживаться от всякой мысли, что не всегда возможно и не всегда полезно; когда же они начинают рассуждать, у них выходит отвлеченная и мертвая дидактика, вовсе не нуждающаяся в «языке богов». Тютчев был избавлен от такого печального положения. Его ум был вполне согласен с вдохновением, поэзия его была полна сознанный мысли, а его мысли находили себе только поэтическое, т. е. одушевленное и законченное, выражение.

Дело поэзии, как и искусства вообще, — не в том, чтобы «украшать действительность приятными вымыслами живого воображения», как говорилось в старинных этикетах, а в том, чтобы воплощать в *ощутительных* образах тот самый высший *смысл жизни*, которому философ дает определение в разумных понятиях, который проповедуется моралистом и осуществляется историческим деятелем, как идея добра. Художественному чувству непосредственно открывается в форме осязательной красоты то же совершенное содержание бытия, которое философией добывается как истины мышления, а в нравственной деятельности дает о себе знать как безусловное требование совести и долга. Это только различные стороны или сферы проявления одного и того же; между ними нельзя провести разделения,

и еще менее могут они противоречить друг другу. Если вселенная имеет смысл, то двух противоречащих друг другу истин — поэтической и научной так же не может быть, как и двух исключających друг друга «высших благ» или целей существования. Следовательно, прав был наш поэт, когда прекрасное он сознательно принимал и утверждал не как вымысел, а как предметную истину, и, чувствуя жизнь природы и душу мира, был убежден в действительности того, что чувствовал⁵.

IV

Убеждение в истинности поэтического воззрения на природу и вытекающая отсюда цельность творчества, гармония между мыслью и чувством, вдохновением и сознанием составляет преимущество Тютчева даже перед таким значительным поэтом-мыслителем, как Шиллер; но, разумеется, это не есть *исключительное* преимущество нашего поэта или специфическая особенность его поэзии. И в новой литературе не все поэты так доверчиво, как Шиллер, приняли механическое мировоззрение, так легко усвоили дуализм Картезия или субъективизм Канта. Многие продолжали и продолжают сознательно верить в действительность жизни и красоты, не видя в этом никакого противоречия с маятником Галилея или законом тяготения Ньютона. Между великими европейскими именами достаточно назвать Шелли в Англии и особенно Гёте в Германии. Гёте, который был не только поэт и мыслитель, но и великий естествоиспытатель, положивший начало двум интереснейшим наукам — сравнительной анатомии животных и морфологии растений, — лучше, чем кто-либо другой, мог видеть всю недостаточность исключительно механического объяснения вселенной, и в целом ряде великолепных стихотворений, под заглавие «Gott und Welt», он прославляет душу мира и жизнь природы⁶.

Конечно, Тютчев не рисовал таких грандиозных картин мировой жизни в целом ходе ее развития, какую мы находим у Гёте, например, в стихотворении: «Vertheilet euch durch alle Regionen...»⁷. Но и сам Гёте не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, *темный корень* мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту *таинственную основу всякой жизни*, — природной и человеческой, — основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества. Здесь Тютчев действительно является вполне своеобразным и если не един-

ственным, то, наверное, самым сильным во всей поэтической литературе. В этом пункте — ключ ко всей его поэзии, источник ее содержательности и оригинальной прелести.

«Олимпиец» Гёте обнимал своим орлиным взглядом величие и красоту живой вселенной. Он знал, конечно, что этот светлый, дневной мир не есть первоначальное, что под ним скрыто совсем другое и страшное, но он не хотел останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпийского спокойствия. Но при таком одностороннем взгляде *смысл вселенной* не может быть раскрыт во всей своей глубине и полноте. Наш поэт одинаково чуток к обеим сторонам действительности; он никогда не забывает, что весь этот светлый, дневной облик живой природы, который он так умеет чувствовать и изображать, есть пока лишь «златотканый покров», расцвеченная и позолоченная вершина, а не основа мироздания:

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров —
День — земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но меркнет день, настала ночь, —
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрыва⁸,
Собрав, отбрасывает прочь.
И *бездна* нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами, —
Вот отчего нам ночь страшна.

«День» и «ночь», конечно, только видимые символы двух сторон вселенной, которые могут быть обозначены и без метафор. Хотя поэт называет здесь темную основу мироздания «*бездной безымянной*», но ему сказалось и собственное ее имя, когда он прислушивался к напевам ночной бури:

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки.

О, *страшных* песен сих не пой
 Про *древний хаос*, про родимый!
 Как жадно мир души ночной
 Внимает повести любимой!
 Из смертной рвется он груди
 И с *беспредельным* жаждет слиться.
 О, бурь уснувших не буди:
 Под ними хаос шевелится!..

V

Хаос, т. е. отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстающие против всего положительного и должного — глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания. Космический процесс вводит эту хаотическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет ее разумным законам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой дикой жизни смысл и красоту. Но и введенный в пределы всемирного строя, хаос дает о себе знать мятежными движениями и порывами. Это присутствие хаотического, иррационального начала в глубине бытия сообщает различным явлениям природы ту свободу и силу, без которых не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота в природе — это борьба и торжество света над тьмою, но этим необходимо предполагается, что тьма есть действительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена в торжестве мировой гармонии: достаточно, чтобы светлое начало овладело ею, подчинило ее себе, до известной степени воплотилось в ней, ограничивая, но не упраздняя ее свободу и противоборство⁹. Так безбрежное море в своем бурном волнении *прекрасно**, как проявление и образ мятежной жизни, гигантского порыва стихийных сил, введенных, однако, в незыблемые пределы, не могущих расторгнуть общей связи мироздания и нарушить его строя, а только наполняющих его движением, блеском и громом:

Как хорошо ты, о море ночное...
 Здесь лучезарно, там сизо-черно!¹⁰

* По Канту, оно не прекрасно, а возвышенно (erhaben), но это одна из тех ненужных *distinctiones more scholasticorum* (схоластических различий (лат.)). — *Ред.*), к каким великий философ имел чрезмерную слабость.

В лунном сиянии, словно живое,
 Ходит и дышит и блещет оно...
 На бесконечном, на вольном просторе
 Блеск и движение, грохот и гром...
 Тусклым сияньем облитое море,
 Как хорошо ты в безлюдье ночном!
 Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
 Чей это праздник так празднуешь ты?
 Волны несутся, гремя и сверкая,
 Чуткие звезды глядят с высоты.

Хаос, т. е. само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическое значение таких явлений, как бурное море или ночная гроза, зависит именно от того, что «под ними хаос шевелится». В изображении всех этих явлений природы, где яснее чувствуется ее темная основа, Тютчев не имеет себе равных.

Не остывшая от зною,
 Ночь июльская блистала,
 И над тусклою землею
 Небо полное грозой
 От зарниц все трепетало.
 Словно тяжкие ресницы,
 Разверзались порою.
 И сквозь беглые зарницы
 Чьи-то грозные зеницы
 Загорались над землею.

Этот поразительный образ гениально заканчивается поэтом в другом стихотворении:

.
 Одни зарницы огневые,
 Воспламеняясь чередой,
 Как *демоны глухонемые*,
 Ведут беседу меж собой,
 Как по условленному знаку
 Вдруг неба вспыхнет полоса,
 И быстро выступают из мраку
 Поля и дальние леса.
 И вот опять все потемнело,
 Все стихло в чуткой темноте,
 Как бы *таинственное дело*
 Решалось там на высоте...

VI

Частные явления суть знаки общей сущности. Поэт умеет читать эти знаки и понимать их смысл. «Таинственное дело», заговор «глухонемых демонов» — вот начало и основа всей мировой истории. Положительное, светлое начало космоса сдерживает эту темную бездну и постепенно преодолевает ее. В последнем, высшем произведении мирового процесса — человеке — внешний свет природы становится внутренним светом сознания и разума, — идеальное начало вступает здесь в новое, более глубокое и тесное сочетание с земною душою; но соответственно этому глубже раскрывается в душе человека и противоположное демоническое начало хаоса. Ту темную основу мироздания, которую он чувствует и видит во внешней природе под «златотканым покровом» космоса, он находит и в своем собственном сознании, —

И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье роковое¹¹.

Главное проявление душевной жизни человека, открывающее ее смысл, есть любовь, и тут опять наш поэт сильнее и яснее других отмечает ту самую демоническую и хаотическую основу, к которой он был чуток в явлениях внешней природы. Этому вовсе не противоречит прозрачный одухотворенный характер тютчевской поэзии. Напротив, чем светлее и духовнее поэтическое создание, тем глубже и полнее, значит, было прочувствовано и пережито то темное, *не-духовное*, что требует просветления и одухотворения.

Жизнь души, сосредоточенная в любви, есть по основе своей *злая* жизнь, смущающая мир прекрасной природы:

Что это, друг? Иль злая жизнь не даром, —
Та жизнь — увы! — что в нас тогда текла,
Та злая жизнь с ее мятежным жаром
Через порог заветный перешла?

Эта злая и горькая жизнь любви убивает и губит¹²:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.

И это не есть случайность, а роковая необходимость земной любви, ее *предопределение*:

Любовь, любовь, — гласит преданье, —
 Союз души с душой родной,
 Их съединенье, сочтанье,
 И роковое их слиянье,
 И поединок роковой.

И чем одно из них нежнее
 В борьбе неравной двух сердец,
 Тем неизбежней и вернее,
 Любя, страдая, грустно млея,
 Оно изнает наконец.

VII

«Злая жизнь», превращающая саму любовь в роковую борьбу, должна кончиться смертью. Но в чем же тогда смысл существования? Смысл природы был в создании разумного существа — человека. Но разум в природном человеке оказывается лишь формальным преимуществом; он не в силах овладеть самой жизнью, сделать ее разумною и бессмертною; на зло разуму и на гибель человека поднимается в нем демоническое и хаотическое безумие. Как в мировом процессе природы темное начало хаоса преодолевалось внешним образом, чтобы произвести светлое мироздание, увенчанное явлением человеческого разума, — так теперь та же самая темная основа, открывшаяся в новой, высшей ступени в жизни и сознании человека, должна быть побеждена внутренним образом, в самом человечестве и при его собственном содействии. Достойная и вечная жизнь, которая требуется, но не дается разумом, должна быть добыта духовным подвигом. Носитель мирового смысла не может иметь свой смысл *вне себя*. Если я, как человек, могу понимать откровение абсолютного совершенства и сознательно стремиться к нему, то зачем же мне переставать быть человеком, чтобы достигнуть этого совершенства? Если мое сознание, как форма, может вместить бесконечное, то зачем же мне искать другой формы? Очевидно, я должен быть не сверхчеловеком, а только совершенным человеком¹³, т. е. соответствующим в действительности идеалу человечности.

Смысл человека есть он сам, но только не как раб и орудие злой жизни, а как ее победитель и владыка. Если загадка мирового сфинкса разрешена явлением природного человека, то загадка нового сфинкса — души и любви человеческой — разрешается явлением духовного человека, действительного и вечно-го царя мироздания, покорителя греха и смерти. И как первое

явление разумного сознания произошло в природе из природы, но не от природы, а от того разума, который изначально устроил саму природу для этого явления и целесообразно направлял естественный ход всемирного процесса, — подобным образом и первое явление совершенной духовной жизни произошло в человечестве и *из* человечества, но *не от* человечества, а от Того, Кто изначально вложил в Свой образ и подобие зародыш высшего совершенства и как Грядущий приготавливал чрез всю историю необходимые условия своего действительного воплощения.

Примкнуть к «Вождю на пути совершенства», заменить роковое и убийственное наследие древнего хаоса духовным и животворным наследием нового человека, или Сына человеческого, — первенца из мертвых, — вот единственный исход из «злой жизни» с ее коренным раздвоением и противоречием, — исход, которого не могла миновать вещая душа поэта:

О, вещая душа моя,
 О, сердце, полное тревоги,
 О, как ты бьешься на пороге
 Как бы двойного бытия!..
 Так, ты жилище двух миров¹⁴,
 Твой день — болезненный и страстный,
 Твой сон — пророчески-неясный,
 Как откровение духов...
 Пускай страдальческую грудь
 Волнуют страсти роковые, —
 Душа готова, как Мария,
 К ногам Христа навек прильнуть...

VIII

«Роковое наследие» темных сил в нашей душе не есть что-нибудь личное, оно одинаково принадлежит всему человечеству, — таково же и духовное наследие Христово: оно явилось не для одиночного утешения отдельного человека, а для спасения всего человечества. Но что такое это человечество, в чем оно реально воплощается, где его действительное единство? На это у Тютчева был определенный ответ, который я здесь только укажу, не оспаривая и не подтверждая его.

Как во всей природе наш поэт признавал живую душу, которою держится единство и целость мира, подобным же образом он признавал и живую душу человечества и видел ее — в России. Как, по словам одного учителя церкви, душа человеческая *по природе* христианка¹⁵, так Тютчев считал Россию по приро-

де христианским царством. Так как смысл истории в христианстве, то Россия, как страна по преимуществу христианская, призвана внутренне обновить и внешним образом объединить все человечество¹⁶.

Для Тютчева Россия была не столько предметом любви, сколько веры — «в Россию можно только верить». Личные чувства его к родине были очень сложны и многоцветны. Было в них даже некоторое отчуждение, с другой стороны — благоговение к религиозному характеру народа: «всю тебя, земля родная, — в рабском виде Царь Небесный — исходил благословляя», — бывали в них, наконец, минутные увлечения самым обыкновенным шовинизмом.

Тютчев не любил Россию тою любовью, которую Лермонтов называл почему-то «странною». К русской природе он скорее чувствовал антипатию. «Север роковой» был для него «сновиденьем безобразным»; родные места он прямо называет *немильми*:

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые.

.....

Ах, нет! не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем, —
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной!
Ах, и не в эту землю я сложил
То, чем я жил и чем я дорожил...

Значит, его вера в Россию не основывалась на непосредственном органическом чувстве, а была делом сознательно выработанного убеждения. Первое, еще неопределенное, но зато высокопоэтическое выражение этой веры он дал еще в молодости — в прекрасном стихотворении «На взятие Варшавы». В своей борьбе с братским народом Россия руководилась не зверскими инстинктами, а только необходимостью «держатъ целостъ соблюсти», для того, чтобы —

Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И вестъ на подвиг просвещенья
Единомысленную рать.
И это высшее сознание
Вело наш доблестный народ
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.

Он чует над своей главою
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездой
Идет к таинственной мечте.

Эта вера в высокое призвание России возвышает самого поэта над мелкими и злобными чувствами национального соперничества и грубого торжества победителей. Необычно у патриотических певцов гуманностью дышат заключительные стихи, обращенные к Польше:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер.
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода
Как феникс возродится в нем.

Позднее вера Тютчева в Россию высказывалась в пророчествах более определенных. Сущность их в том, что Россия сделается всемирною христианскою монархией, —

...и не пройдет век,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Одно время условием этого великого события он считал соединение Восточной церкви с Западною чрез соглашение царя с папой, но потом отказался от этой мысли, находя, что папство несовместимо со свободой совести, т. е. с самою существенною принадлежностью христианства.

Отказавшись от надежды мирного соединения с Западом, наш поэт продолжал предсказывать превращение России во всемирную монархию, простирающуюся по крайней мере до Нила и до Ганга, с Царьградом, как столицей. Но эта монархия не будет, по мысли Тютчева, подобием звериного царства Навуходоносорова, — ее единство не будет держаться насилем. По поводу известного изречения Бисмарка Тютчев противопоставляет друг другу *два единства*:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом и лишь кровью»;
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

Великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью

земного оружия должна она облечься, а «чистою ризою Христовою».

Над этой темною толпой
 Непробужденного народа
 Взойдешь ли ты когда, свобода,
 Блеснет ли луч твой золотой?
 Блеснет твой луч и оживит,
 И сон разгонит и туманы...
 Но старые, гнилые раны,
 Рубцы насилий и обид,
 Растрепанье душ и пустота.
 Что гложет ум и сердце ноет...
 Кто их излечит, кто прикроет?
 Ты, риза чистая Христа...

Мне остается только прибавить несколько слов, чтобы из патриотических пророчеств нашего поэта извлечь их окончательный смысл.

Допустим, становясь на точку зрения Тютчева, что Россия — душа человечества. Но, как в душе природного мира, и в душе отдельного человека светлое духовное начало имеет против себя темную хаотическую основу, которая еще не побеждена, еще не подчинилась высшим силам, — которая еще борется за преобладание и влечет к смерти и гибели, — точно так же, конечно, и в этой собирательной душе человечества, т. е. в России. Ее жизнь еще не определилась окончательно, она еще двоится, увлекаемая в разные стороны противоборствующими силами. Воплотился ли уже в ней свет истины Христовой; спаяла ли она единство всех своих частей любовью? Сам поэт признает, что она еще не покрыта ризою Христа.

Значит, — можно сказать поэту, — судьба России зависит не от Царьграда и чего-нибудь подобного, а от исхода внутренней нравственной борьбы светлого и темного начала в ней самой. Условие для исполнения ее всемирного призвания есть внутренняя победа добра над злом в ней, а Царьград и прочее может быть только следствием, а никак не условием желанного исхода. Пусть Россия, хотя бы без Царьграда, хотя бы в настоящих своих пределах, станет христианским царством в полном смысле этого слова — царством правды и милости, — и тогда все остальное, — наверное, — приложится ей.

